

Лев Николаевич Толстой

Корней Васильев

I

Корнею Васильеву было пятьдесят четыре года, когда он в последний раз приезжал в деревню. В густых курчавых волосах у него не было еще ни одного седого волоса, и только в черной бороде у скул пробивалась седина. Лицо у него было гладкое, румяное, загривок широкий и крепкий, и все сильное тело обложилось жиром от сытой городской жизни.

Он двадцать лет тому назад отбыл военную службу и вернулся со службы с деньгами. Сначала он завел лавку, потом оставил лавку и стал торговать скотиной. Ездил в Черкасы за "товаром" (скотиной) и пригонял в Москву.

В селе Гаях, в его каменном, крытом железом доме, жила старуха мать, жена с двумя детьми (девочка и мальчик), еще сирота племянник, немой пятнадцатилетний мальчик, и работник. Корней был два раза женат. Первая жена его была слабая, больная женщина и умерла без детей, и он, уже немолодым вдовцом, женился второй раз на здоровой, красивой девушке, дочери бедной вдовы из соседней деревни. Дети были от второй жены.

Корней так выгодно продал последний "товар" в Москве, что у него собралось около трех тысяч денег. Узнав от земляка, что недалеко от его села выгодно продается у разорившегося помещика роща, он вздумал заняться еще и лесом. Он знал это дело и еще до службы жил помощником приказчика у купца в роще.

На железнодорожной станции, с которой сворачивали, в Гаи, Корней встретил земляка, гаевского кривого Кузьму. Кузьма к каждому поезду выезжал из Гаев за седоками на своей парочке плохоньких косматых лошадей. Кузьма был беден и оттого не любил всех богатых, а особенно богача Корнея, которого он знал Корнюшкой.

Корней, в полушубке и тулупе, с чемоданчиком в руке, вышел на крыльцо станции и, выпятив брюхо, остановился, отдуваясь и оглядываясь. Было утро. Погода была тихая, пасмурная, с легким морозцем.

- Что ж, не нашел седоков, дядя Кузьма? - сказал он, - Свезешь, что ли?

- Что ж, давай рублевку. Свезу.

- Ну и семь гривен довольно.

- Брюхо наел, а тридцать копеек у бедного человека оттянуть хочешь.

- Ну, ладно, давай, что ль, - сказал Корней. И, уложив в маленькие санки чемодан и узел, он широко уселся на заднем месте.

Кузьма остался на козлах.

- Ладно. Трогай.

Выехали из ухабов у станции на гладкую дорожку.

- Ну, а что, как у вас, не у вас, а у нас на деревне? - спросил Корней.

- Да хорошего мало.

- А что так? Моя старуха жива?

- Старуха-то жива. Надьсь в церкви была. Старуха твоя жива. Жива и молодая хозяйка твоя. Что ей делается. Работника нового взяла.

И Кузьма засмеялся как-то чудно, как показалось Корнею.

- Какого работника? А Петра что?

- Петра заболел. Взяла Евстигня Белого из Каменки, - сказал Кузьма, - из своей деревни, значит.

- Вот как? - сказал Корней.

Еще когда Корней сватал Марфу, в народе что-то бабы болтали про Евстигню.

- Так-то, Корней Васильич, - сказал Кузьма. - Очень уж бабы нынче волю забрали.

- Что и говорить! - промолвил Корней. - А стара твоя сивая стала, - прибавил он, желая прекратить разговор.

- Я и сам не молод. По хозяину, - проговорил Кузьма в ответ на слова Корнея, постегивая косматого, кривоногого мерина.

На полдороге был постоялый двор. Корней велел остановить и вошел в дом. Кузьма приворотил лошадь к пустому корыту и оправлял шлею, не глядя на Корнея и ожидая, что он позовет его.

- Заходи, что ль, дядя Кузьма, - сказал Корней, выходя на крыльцо, - выпьешь стаканчик.

- Ну что ж, - отвечал Кузьма, делая вид, что не торопится.

Корней потребовал бутылку водки и поднес Кузьме. Кузьма, не евши с утра, тотчас же захмелел. И как только захмелел, стал шепотом, пригибаясь к Корнею, рассказывать ему, что говорили в деревне. А говорили, что Марфа, его жена, взяла в работники своего прежнего любовника и живет с ним.

- Мне что ж. Мне тебя жалко, - говорил пьяный Кузьма. - Только нехорошо, народ смеется. Видно, греха не боится. Ну, да погоди же ты, говорю. Дай срок, сам приедет. Так-то, брат, Корней Васильич.

Корней молча слушал то, что говорил Кузьма, и густые брови все ниже и ниже спускались над блестящими черными, как уголь, глазами.

- Что ж, поить будешь? - сказал он только, когда бутылка была выпита. - А нет, так и едем.

Он расплатился с хозяином и вышел на улицу.

Домой он приехал сумерками. Первый встретил его тот самый Евстигней Белый, про которого он не мог не думать всю дорогу. Корней поздоровался с ним. Увидав худощавое белобрысое лицо заторопившегося Евстигнея, Корней только недоуменно покачал головой. "Наврал, старый пес, - подумал он на слова Кузьмы. - А кто их знает. Да уж я дознаюсь".

Кузьма стоял у лошади и подмигивал своим одним глазом на Евстигнея.

- У нас, значит, живешь? - спросил Корней.

- Что ж, надо где-нибудь работать, - отвечал Евстигней.

- Топлена горница-то?

- А то как же? Матвевна тама, - отвечал Евстигней.

Корней поднялся на крыльцо. Марфа, услышав голоса, вышла в сени и, увидав мужа, вспыхнула и торопливо и особенно ласково поздоровалась с ним.

- А мы с матушкой уж и ждать перестали, - сказала она и вслед за Корнеем вошла в горницу.

- Ну что, как живете без меня?

- Живем все по-старому, - сказала она и, подхватив на руки двухлетнюю дочку, которая тянула ее за юбку и просила молока, большими решительными шагами вошла в сени.

Корнеева мать с такими же черными глазами, как у Корнея, с трудом волоча ноги в валенках, вошла в горницу.

- Спасибо проведать приехал, - сказала она, покачивая трясущейся головой.

Корней рассказал матери, по какому делу заехал, и, вспомнив про Кузьму, пошел вынести ему деньги. Только он отворил дверь в сени, как прямо перед собой он увидел у двери на двор Марфу и Евстигнея. Они близко стояли друг от друга, и она говорила что-то. Увидав Корнея, Евстигней шмыгнул во двор, а Марфа подошла к самовару, поправляя гудевшую над ним трубу.

Корней молча прошел мимо ее согнутой спины и, взяв узел, позвал Кузьму пить чай в большую избу. Перед чаем Корней роздал московские гостинцы домашним: матери

шерстяной платок, Федьке книжку с картинками, немому племяннику жилетку и жене ситец на платье.

За чаем Корней сидел насупившись и молчал. Только изредка неохотно улыбался, глядя на него, который забавлял всех своей радостью. Он не мог нарадоваться на жилетку. Он укладывал и развертывал ее, надевал ее и целовал свою руку, глядя на Корнея, и улыбался.

После чая и ужина Корней тотчас же ушел в горницу, где спал с Марфой и маленькой дочкой. Марфа оставалась в большой избе убирать посуду. Корней сидел один у стола, облокотившись на руку, и ждал. Злоба на жену все больше и больше ворочалась в нем. Он достал со стены счеты, вынул из кармана записную книжку и, чтобы развлечь мысли, стал считать. Он считал, поглядывая на дверь и прислушиваясь к голосам в большой избе.

Несколько раз он слышал, как отворялась дверь в избу и кто-то выходил в сени, но это все была не она. Наконец послышались ее шаги, дернулась дверь, отлипла, и она, румяная, красивая, в красном платке, вошла с девочкой на руках.

- Небось с дороги-то уморился, - сказала она, улыбаясь, как будто не замечая его угрюмого вида.

Корней глянул на нее и стал опять считать, хотя считать уж нечего было.

- Уж не рано, - сказала она и, спустив с рук девочку, прошла за перегородку.

Он слышал, как она убирала постель и укладывала спать дочку.

"Люди смеются, - вспомнил он слова Кузьмы. - Погоди же ты..." - подумал он, с трудом переводя дыхание, и медленным движением встал, положил обгрызок карандаша в жилетный карман, повесил счеты на гвоздь, снял пиджак и подошел к двери перегородки. Она стояла лицом к иконам и молилась. Он остановился, ожидая. Она долго крестилась, кланялась и шепотом говорила молитвы. Ему казалось, что она давно перечитала все молитвы и нарочно по нескольку раз повторяет их. Но вот она положила земной поклон, выпрямилась, прошептала в себя какие-то молитвенные слова и повернулась к нему лицом.

- А Агашка-то уж спит, - сказала она, указывая на девочку, и, улыбаясь, села на заскрипевшую кровать.

- Евстигней давно здесь? - сказал Корней, входя в дверь.

Она спокойным движением перекинула одну толстую косу через плечо на грудь и начала быстрыми пальцами расплетать ее. Она прямо смотрела на него, и глаза ее смеялись.

- Евстигней-то? А кто его знает, - недели две али три.

- Ты живешь с ним? - проговорил Корней.

Она выпустила из рук косу, но тотчас же поймала опять свои жесткие густые волосы и опять стала плести.

- Чего не выдумают. Живу с Евстигнеем? - сказала она, особенно звучно произнося слово Евстигней, - Выдумают же! Тебе кто сказал?

- Говори: правда, нет ли? - сказал Корней и сжал в кулаки засунутые в карманы могучие руки.

- Будет болтать пустое. Снять сапоги-то?

- Я тебя спрашиваю, - повторил он.

- Ишь добро какое. На Евстигнея польстилась, - сказала она. - И кто только наврал тебе?

- Что ты с ним в сенях говорила?

- Что говорила. Говорила, на бочку обруч набить надо. Да ты что ко мне пристал?

- Я тебе велю: говори правду. Убью, сволочь поганая.

Он схватил ее за косу.

Она выдернула у него из руки косу, лицо ее скосилось от боли.

- Только да то тебя и взять, что драться. Что я от тебя хорошего видела? От такого житья не знаю, что сделаешь.

- Что сделаешь? - проговорил он, надвигаясь на нее.

- За что полкосы выдрал? Во, так шмотами и лезут. Что пристал. И правда, что...

Она не договорила. Он схватил ее за руку, сдернул с кровати и стал бить по голове, по бокам, по груди. Чем больше он бил, тем больше разгоралась в нем злоба. Она кричала, защищалась, хотела уйти, но он не пускал ее. Девочка проснулась и бросилась к матери.

- Мамка, - редела она.

Корней ухватил девочку за руку, оторвал от матери и, как котенка, бросил в угол. Девочка визгнула, и несколько секунд ее не слышно было.

- Разбойник! Ребенка убил, - кричала Марфа и хотела подняться к дочери.

Но он опять схватил ее и как ударил в грудь, что она упала навзничь и тоже перестала кричать. Только девочка кричала отчаянно, не переводя духа.

Старуха, без платка, с растрепанными седыми волосами, с трясущейся головой, шатаясь, вошла в каморку и, не глядя ни на Корнея, ни на Марфу, подошла к внучке, заливавшейся отчаянными слезами, и подняла ее.

Корней стоял, тяжело дыша и оглядываясь, как будто спросонья, не понимая, где он и кто тут с ним.

Марфа подняла голову и, стоная, вытирала окровавленное лицо рубахой.

- Злодей постылый! - проговорила она. - И живу с Евстигнеем и жила. На, убей до смерти. И Агашка не твоя дочь; с ним прижила, - быстро выговорила она и закрыла локтем лицо, ожидая удара.

Но Корней как будто ничего не понимал и только сопел и оглядывался.

- Ты глянь, что с девчонкой сделал: руку вышиб, - сказала старуха, показывая ему вывернутую висящую ручку не переставая заливавшейся криками девочки. Корней повернулся и молча вышел в сени и на крыльцо.

На дворе было все так же морозно и пасмурно. Снежинки инея падали ему на горевшие щеки и лоб. Он сел на приступки и ел горстями снег, собирая его на перилах. Из-за дверей слышно было, как стонала Марфа и жалостно плакала девочка; потом отворилась дверь в сени, и он слышал, как мать с девочкой вышла из горницы и прошла через сени в большую избу. Он встал и вошел в горницу. Завернутая лампа горела малым светом на столе. Из-за перегородки слышались усилившиеся, как только он вошел, стоны Марфы. Он молча оделся, достал из-под лавки чемодан, уложил в него свои вещи и завязал его веревкой.

- За что убил меня? За что? Что я тебе сделала? - заговорила Марфа жалостным голосом. Корней, не отвечая, поднял чемодан и понес к двери. - Каторжник. Разбойник! Погоди ж ты. Али на тебя суда нет? - совсем другим голосом злобно проговорила она.

Корней, не отвечая, толкнул дверь ногой и так сильно захлопнул ее, что задрожали стены.

Войдя в большую избу, Корней разбудил немого и велел ему запрягать лошадь. Немой, не сразу проснувшись, удивленно-вопросительно поглядывал на дядю и обеими руками расчесывал голову. Поняв, наконец, что от него требовали, он вскочил, надел валенки, рваный полушубок, взял фонарь и пошел на двор.

Уж было совсем светло, когда Корней выехал с немым в маленьких пошевнях за ворота и поехал назад по той же дороге, по которой с вечера приехал с Кузьмой.

Он приехал на станцию за пять минут до отхода поезда. Немой видел, как он брал билет, как взял чемодан и как сел в вагон, кивнув ему головой, и как вагон укатился из вида.

У Марфы, кроме побоев на лице, были сломаны два ребра и разбита голова. Но сильная, здоровая молодая женщина справилась через полгода, так что не осталось

никаких следов побоев. Девочка же навек осталась полукалекой. У ней были переломлены две кости руки, и рука осталась кривая.

Про Корнея же с тех пор, как он ушел, никто ничего не знал. Не знали, жив ли он, или умер.

II

Прошло семнадцать лет. Была глухая осень. Солнце ходило низко, и в четвертом часу вечера уж смеркалось. Андреевское стадо возвращалось в деревню. Пастух, отслужив срок, до заговенья ушел, и гоняли скотину очередные бабы и ребята.

Стадо только что вышло с овсяного жнивья на грязную, испещренную раздвоенно-копытными следами черноземную, взрытую колеями большую грунтовую дорогу и с неперестающим мычанием и блеянием подвигалось к деревне. По дороге впереди стада шел в потемневшем от дождя, заплатанном зипуне, в большой шапке, с кожаным мешком за сутуловатой спиной высокий старик с седой бородой и курчавыми седыми волосами; только одни густые брови были у него черные. Он шел, тяжело двигая по грязи мокрыми и разбившимися грубыми хохлацкими сапогами и через шаг равномерно подпираясь дубовой клюкой. Когда стадо догнало его, он, опершись на клюку, остановился. Гнавшая стадо молодайка, покрывшись с головой дерюжкой, в подтыканной юбке и мужских сапогах, перебежала быстрыми ногами то на ту, то на другую сторону-дороги, подгоняя отстающих овец и свиней. Поравнявшись с стариком, она остановилась, оглядывая его.

- Здорово, дедушка, - сказала она звучным, нежным, молодым голосом.

- Здорово, умница, - проговорил старик.

- Что ж, ночевать, что ль?

- Да видно так. Уморился, - хрипло проговорил старик.

- А ты, дед, к десятскому не ходи, - ласково проговорила молодайка. - Иди прямо к нам, - третья изба с краю. Станных людей свекровь так пущает.

- Третья изба. Зиновеева, значит? - сказал старик, как-то значительно поводя черными бровями.

- А ты разве знаешь?

- Бывал.

- Ты чего, Федюшка, слюни распустил, - хромая-то вовсе отстала, - крикнула молодайка, указывая на ковылявшую позади стада трехногую овцу, и, взмахнув правой рукой хворостиной и как-то странно, снизу, кривой левой рукой перехватив дерюжку на голове, побежала назад за отставшей хромой мокрой черной овцой.

Старик был Корней. А молодайка была та самая Агашка, которой он выломал руку семнадцать лет тому назад. Она была выдана в Андреевку, в богатую семью, за четыре версты от Гаев.

III

Корней Васильев из сильного, богатого, гордого человека стал тем, что он был теперь: старым побирушкой, у которого ничего не было, кроме изношенной одежды на теле, солдатского билета и двух рубах в сумке. Вся эта перемена сделалась так понемногу, что он не мог бы сказать, когда это началось и когда сделалось. Одно, что он знал, в чем был твердо уверен, это то, что виною его несчастья была его злодейка жена. Ему странно и больно было вспоминать то, что он был прежде. И когда он вспоминал про это, он с ненавистью вспоминал про ту, кого он считал причиной всего того дурного, что он испытал в эти семнадцать лет.

В ту ночь, когда он избил жену, он поехал к помещику, где продавалась роща. Рощи не довелось купить. Она была уже куплена, и он вернулся в Москву и там запил. Он и прежде пивал, но теперь пьянствовал без просыпу две недели, и когда опомнился, уехал

на низ за скотиной. Покупка была неудачная, и он понес убыток. Он поехал в другой раз. И вторая покупка не задалась. И через год у него из трех тысяч осталось двадцать пять рублей и пришлось наниматься к хозяевам. Он и прежде пил, а теперь стал выпивать чаще и чаще.

Сначала он прожил год приказчиком у скотопромышленника, но дорогой запил, и купец расчел его. Потом он нашел по знакомству место торговца вином, но и тут прожил недолго. Запутался в расчетах, и ему отказали. Домой ехать и стыдно было, и злоба брала. "Проживут и без меня. Может, и мальчишка-то не мой", - думал он.

Все шло хуже и хуже. Без вина он не мог жить. Стал наниматься уж не в приказчики, а в погонщики к скотине, потом и в эту должность не стали брать.

Чем хуже ему становилось, тем больше он обвинял ее, и тем больше разгоралась его злоба на нее.

В последний раз Корней нанялся в погонщики к скотине к незнакомому хозяину. Скотина заболела. Корней не был виноват, но хозяин рассердился и расчитал и приказчика и его. Наниматься некуда было, и Корней решил идти странствовать. Состроил себе сапоги хорошие, сумку, взял чаю, сахару, денег восемь рублей и пошел в Киев. В Киеве ему не понравилось, и он пошел на Кавказ, в Новый Афон. Не доходя Нового Афона, его захватила лихорадка. Он вдруг ослабел. Денег оставалось рубль семьдесят копеек, знакомых никого не было, и он решил идти домой к сыну. "Может, она и померла теперь, злодейка моя, - думал он. - А жива, так хоть перед смертью выскажу ей все; чтоб знала она, мерзавка, что со мной сделала", - думал он и пошел к дому.

Лихорадка трепала его через день. Он слабел все больше и больше, так что не мог уходить больше десяти, пятнадцати верст в день. Не доходя двухсот верст до дому деньги все вышли, и он шел уж Христовым именем и ночевал по отводу десятского. "Радуйся, до чего довела меня!" - думал он про жену, и, по старой привычке, старые и слабые руки сжимались в кулаки. Но и бить некого было, да и силы в кулаках уже на было.

Две недели шел он эти двести верст и, совсем больной и слабый, добрел до того места, в четырех верстах от дома, где встретился, не узнав ее и не быв узан, с той Агашкой, которая считалась, но не была его дочерью и которой он выломал руку.

IV

Он сделал, как сказала ему Агафья. Дойдя до Зиновеева двора, он попросился ночевать. Его пустили.

Войдя в избу, он, как и всегда делал, перекрестился на иконы и поздоровался с хозяевами.

- Застыл, дед! Иди, иди на печь, - сказала сморщенная веселая старушка хозяйка, убиравшаяся у стола.

Муж Агафьи, моложавый мужик, сидел на лавке у стола и заправлял лампу.

- И мокрый же ты, дед! - сказал он. - Да что станешь делать. Сушись!

Корней разделся, разулся, повесил против печки онучи и влез на печь.

В избу вошла и Агафья с кувшином. Она уже успела пригнать стадо и убраться с скотиной.

- А не бывал старик странный? - спросила она. - Я велела к нам заходить.

- А вон он, - сказал хозяин, указывая на печь, где, потирая мохнатые костлявые ноги, сидел Корней.

К чаю хозяева кликнули и Корнея. Он слез и сел на краю лавки. Ему подали чашку и кусок сахара.

Разговор шел про погоду, про уборку. Не дается в руки хлеб. У помещиков проросли копны в поле. Только начнут возить - опять дождь. Мужички свезли, А у господ так дуром преет. А мыша в снопах - страсть.

Корней рассказал, что он видел по дороге целое поле полно копен. Молодая налила ему пятую чашку жидкого, чуть желтого чаю и подала.

- Ничего. Пей, дедушка, на здоровье, - сказала она на его отказ.

- Что ж это рука у тебя неисправная? - спросил он у нее, осторожно принимая от нее полную чашку и пошевеливая бровями.

- С мальства еще сломали, - сказала говорливая свекровь. - Это ее отец нашу Агашку убить хотел.

- С чего ж это? - спросил Корней. И, глядя на лицо молодой, ему вспомнился вдруг Евстигней Белый с его голубыми глазами, и рука, державшая чашку, так задрожала, что он разлил половину чая, пока донес ее до стола.

- А такой был в Гаях у нас человек, отец ей, Корней Васильевым звали. Богатей был. Так возгордился на жену. Ее избил и ее вот испортил.

Корней молчал, взглядывая из-под не переставая шевелившихся черных бровей то на хозяина, то на Агашу.

- За что же? - спросил он, откусывая сахар.

- Кто их знает. Про нашу сестру всякое сболтнут, а ты отвечай, - говорила старуха. - Из-за работника что-то у них вышло. Работник малый хороший был из нашей деревни. Он и помер у них в доме.

- Помер? - переспросил Корней и откашлялся.

- Давно помер... У них мы и взяли молодую. Жили хорошо. Первые на селе были. Пока жив был хозяин.

- А он что же? - спросил Корней.

- Тоже помер, должно. С того раза пропал. Лет пятнадцать будет.

- Больше, никак, мне мамушка сказывала, меня она только кормить бросила.

- Что ж, ты на него не обижаешься на то, что он руку... - начал было Корней и вдруг захлюпал.

- Разве он чужой - отец ведь. Что ж, еще пей с холоду-то. Налить, что ль?

Корней не отвечал и, всхлипывая, плакал.

- Чего ж ты?

- Ничего, так, спаси Христос.

И Корней дрожащими руками ухватился за столбик и за полати и полез большими худыми ногами на печь.

- Вишь ты, - сказала старуха сыну, подмигивая на старика.

V

На другой день Корней поднялся раньше всех. Он слез с печи, размял высохшие подвертки; с трудом обул заскорузшие сапоги и надел мешок.

- Что ж, дед, позавтракал бы? - сказала старуха.

- Спаси Бог. Пойду.

- Так вот возьми хоть лепешек вчерашних. Я тебе в мешок положу.

Корней поблагодарил и простился.

- Заходи, когда назад пойдешь, живы будем...

На дворе был тяжелый осенний туман, закрывающий все. Но Корней хорошо знал дорогу, знал всякий спуск и подъем, и всякий куст, и все ветлы по дороге, и леса направо и налево, хотя за семнадцать лет одни срубили и из старых стали молодыми, а другие из молодых стали старыми.

Деревня Гаи была все та же, только построились с краю новые дома, каких не было прежде. И из деревянных домов стали кирпичные. Его каменный дом был такой же, только постарел. Крыша была давно не крашена, и на угле выбитые были кирпичи, и крыльцо покровилось.

В то время как он подходил к своему прежнему дому, из скрипучих ворот вышла матка с жеребенком, старый мерин чалый и третьяк. Старый чалый был весь в ту матку, которую Корней за год до своего ухода привел с ярмонки.

"Должно, это тот самый, что у нее тогда в брюхе был. Та же вислозадина и та же широкая грудь и косматые ноги", - подумал он.

Лошадей гнал поить черноглазый мальчишка в новых лапотках. "Должно, внук, Федькин сын значит, в него черноглазый", - подумал Корней.

Мальчик посмотрел на незнакомого старика и побежал за заигравшим по грязи стригуном. За мальчиком бежала собака, такая же черная, как прежний Волчок.

"Неужели Волчок?" - подумал он. И вспомнил, что тому было бы двадцать лет.

Он подошел к крыльцу и с трудом взошел на те ступеньки, на которых он тогда сидел, глотая снег с перил, и отворил дверь в сени.

- Чего лезешь не спросись, - окликнул его женский голос из избы. Он узнал ее голос. И вот она сама, сухая, жилистая, морщинистая старуха, высунулась из двери. Корней ждал той молодой красивой Марфы, которая оскорбила его. Он ненавидел ее и хотел укорить, и вдруг вместо нее перед ним была какая-то старуха. - Милостыни - так под окном проси, - пронзительным, скрипучим голосом проговорила она.

- Я не милостыни, - сказал Корней.

- Так чего же ты? Чего еще?

Она вдруг остановилась. И он по лицу ее увидал, что она узнала его.

- Мало ли вас шляется. Ступай, ступай. С Богом.

Корней привалился спиной к стене и, упираясь на клюку, пристально смотрел на нее и с удивлением чувствовал, что у него не было в душе той злобы на нее, которую он столько лет носил в себе, но какая-то умиленная слабость вдруг овладела им.

- Марфа! Помирать будем.

- Ступай, ступай с Богом, - быстро и злобно говорила она.

- Больше ничего не скажешь?

- Нечего мне говорить, - сказала она. - Ступай с Богом. Ступай, ступай. Много вас, чертей, дармоедов, шляется.

Она быстрыми шагами вернулась в избу и захлопнула дверь.

- Чего ж ругать-то, - услышался мужской голос, и в дверь вошел с топором за поясом черноватый мужик, такой же, как был Корней сорок лет тому назад, только поменьше и похудее, но с такими же черными блестящими глазами.

Это был тот самый Федька, которому он семнадцать лет тому нааад подарил книжку с картинками. Это он упрекнул мать за то, что она не пожалела нищего. С ним вместе вошел, и тоже с топором за поясом, немой племянник. Теперь это был взрослый, с редкой бородкой, морщинистый, жилистый человек, с длинной шеей, решительным и внимательно пронизывающим взглядом. Оба мужика только позавтракали и шли в лес.

- Сейчас, дедка, - сказал Федор и указал немому сначала на старика, а потом на горлицу и показал рукою, как режут хлеб.

Федор вышел на улицу, а немой вернулся в избу. Корней все стоял, опустив голову, прислонившись к стене и опираясь на клюку. Он чувствовал большую слабость и с трудом удерживал рыдания. Немой вышел из избы с большим пахучим ломтем свежего черного хлеба и, перекрестившись, подал Корнею. Когда Корней, приняв хлеб, тоже перекрестился, немой обратился к двери в избу, провел двумя руками по лицу и начал делать вид, что плюет. Он выражал этим неодобрение тетке. Вдруг он замер и, разинув рот, уставился на Корнея, как будто узнавая. Корней не мог больше удерживать слезы и, вытирая глаза, нос и седую бороду полою кафтана, отвернулся от него и вышел на крыльцо. Он испытывал какое-то особенное, умиленное, восторженное чувство смирения, унижения перед людьми, перед нею, перед сыном, перед всеми людьми, и чувство это и радостно и больно раздирало его душу.

Марфа смотрела из окна и спокойно вздохнула только тогда, когда увидела, что старик скрылся за углом дома.

Когда Марфа уверилась, что старик ушел, она села за стан и стала ткать. Она ударила раз десяток бердом, но руки не шли, она остановилась и стала думать и вспоминать, каким она сейчас видела Корнея, - она знала, что это был он - тот самый, который убивал ее и прежде любил ее, и ей было страшно за то, что она сейчас сделала. Не то она сделала, что надо было. А как же надо было обойтись с ним? Ведь он не сказал, что он Корней и что он домой пришел.

И она опять взялась за челнок и продолжала ткать до самого вечера.

VI

Корней с трудом добрал к вечеру до Андреевки и опять попросился ночевать к Зиновеевым. Его приняли.

- Что ж, дед, не пошел дальше?
- Не пошел. Ослаб. Видно, назад пойду. Ночевать пустите?
- Место не пролежишь. Иди сушишь.

Всю ночь Корнея трепала лихорадка. Перед утром он забылся, а когда проснулся, домашние все разошлись по своим делам, и в избе оставалась одна Агафья.

Он лежал на хорах на сухом кафтане, который подостлала ему старуха. Агафья вынимала хлебы из печи.

- Умница, - позвал он ее слабым голосом, - подойди ко мне.
- Сейчас, дед, - отвечала она, высаживая хлебы. - Напиться, что ль? Кваску?

Он не отвечал.

Высадив последний хлеб, она подошла к нему с ковшиком кваса. Он не повернулся к ней и не стал пить, а как лежал кверху лицом, так и стал говорить, не поворачиваясь.

- Гаша, - сказал он тихим голосом, - время мое доспело. Я помирать хочу. Так вот ты прости меня Христа ради.

- Бог простит. Что ж, ты мне худого не делал...

Он помолчал.

- А еще вот что: сходи ты, умница, к матери, скажи ей... странник, мол, скажи... вчерашний странник, скажи...

Он стал всхлипывать.

- А ты разве был у наших?

- Был. Скажи, странник вчерашний... странник, скажи... - опять он остановился от рыданий и, наконец, собравшись с силами, договорил: - попрощаться к ней приходил, - сказал он и стал шарить у себя около груди.

- Скажу, дед, скажу. А ты чего ищешь? - сказала Агафья.

Старик, не отвечая, сморщившись от усилия, достал своей худой волосатой рукой бумагу из-за пазухи и подал ей.

- А это вот отдай, кто спросит. Билет мой солдатский. Слава Богу, развязались все грехи, - и лицо его сложилось в торжественное выражение. Брови поднялись, глаза уставились в потолок, и он затих.

- Свечку, - проговорил он, не шевеля губами.

Агафья поняла. Достала от икон обгоревшую восковую свечку, зажгла и подала ему. Он прихватил ее большим пальцем.

Агафья отошла убрать в сундучок его билет, и когда подошла к нему, свеча валилась у него из руки, и остановившиеся глаза уже не видели, и грудь не дышала. Агафья перекрестилась, задула свечу, достала полотенце чистое и закрыла его лицо.

Во всю ночь эту Марфа не могла заснуть и все думала о Корнее. Наутро она надела зипун, накрылась платком и пошла узнавать, где вчерашний старик. Очень скоро она

узнала, что старик в Андреевке. Марфа взяла из плетня палку и пошла в Андреевку. Чем дальше она шла, тем все страшнее и страшнее ей становилось. "Попрощаемся с ним, возьмем домой, грех развяжем. Пускай хоть помрет дома при сыне", - думала она.

Когда Марфа стала подходить к дочернему двору, она увидела большую толпу народа у избы. Одни стояли в сенях, другие под окнами. Все уж знали, что тот самый знаменитый богач Корней Васильев, который двадцать лет тому назад гремел по округе, бедным странником помер в доме дочери. Изба тоже была полна народа. Бабы перешептывались, вздыхали и охали.

Когда Марфа вошла в избу и народ расступился, пропуская ее, она под снятыми увидела обмытое, убранное, прикрытое полотном мертвое тело, над которым грамотный Филипп Кононыч, подражая дьячкам, читал нараспев славянские слова Псалтыря.

Ни простить, ни просить прощенья уже нельзя было. А по строгому, прекрасному, старому лицу Корнея нельзя было понять, прощает ли он или еще гневается.

1905-1906